

НИКОЛАЙ БЕСЕДИН



ДЕНЬ ФЛОТА

РАССКАЗ

В тот год отмечалось 300-летие Российского флота. Я отправился в Севастополь, где когда-то три года работал механиком на судах Вспомогательного флота после окончания мореходного училища, надеясь, что, найду прежних знакомых, в том числе и по литературному объединению. Перед поездкой я попробовал связаться с Доком, дружба с которым началась именно там, в многославном городе, по-флотски опрятном и строгом, сияющем белозной инкерманского камня, но не смог его отыскать. Мы лет шесть не встречались, лишь изредка перезваниваясь по какому-либо поводу.

Но всё так изменчиво в нашей распрекрасной жизни — от цен до моральных ценностей, что о телефонах и говорить нечего. А мне хотелось поехать в рай, как назвал Бальзак воспоминания, вдвоём с другом и побродить вместе по улицам счастья и переулкам неудач и печали. Наверно, это звучит смешно, но признайся, читатель, что другого рая у тебя в жизни не было, если ты успел обзавестись прошлым. Воспоминания о нём имеют странную особенность хранить, в основном, лучшее из того, чем одарила тебя своя нравная судьба.

Словом, поезд “Москва-Севастополь” в лице угрюмолицего проводника ранним июльским утром вежливо подтолкнул меня, полуспящего, на шаткий перрон морской твердыни. Я огляделся и понял, что радостных криков встре-

---

*БЕСЕДИН Николай Васильевич родился в 1934 году в Кемеровской области. Четырнадцатилетним юношей ушёл юнгой на флот. В 1956 году окончил Ломоносовское мореходное училище ВМФ, в 1963 году — Литературный институт им. Горького в одном семинаре с Н. Рубцовым, О. Фокиной, Д. Ушаковым и др. Работал в Институте ядерной физики им. Курчатова, Госплане СССР. Автор 12 стихотворных сборников, лауреат премии им. Н. Заболоцкого (2002 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

чающих, духового оркестра и даже назойливых таксистов не будет, и побрёл на троллейбусную остановку. С этого момента начало твориться что-то потустороннее со мной, как будто кто-то незримый подшучивал то по-доброму, то с издевкой над моими поисками райских кушей.

В гостинице совершенно противостоительно нашёлся для меня одностельный номер, хотя и по низшему разряду, а едва ступил я на лучший в мире Приморский бульвар, как столкнулся с каперангом, подозрительно напоминающим начинающего прозаика лейтенанта Гарбузова из тех давних лет.

Он покосился на меня, потом остановился и обернулся. Я проделал то же самое, и мы одновременно воскликнули:

— Неужели это ты?

Забросав друг друга вопросами и выслушав вопреки обычаю ответы, мы повернули на Большую Морскую и бросили якорь в ближайшем уличном кафе.

Гарбузов по-флотски скуп, но доходчиво рассказал, что первые три года служба не заладилась. Его ироничные литературные опусы о флотской жизни вызвали раздражение начальства (хватит с нас одного Пахомова), и он был переведён из плавсостава в какую-то береговую шарашку.

— Иногда и от хорошего пинка мы обретаем крылья, — философски изрёк он, ставя точку на первом этапе службы. — Я бросил писать прозу и стал писать отчёты и изредка рапорты о переводе меня на какую-нибудь посудину. То ли понравился стиль моих отчётов, то ли почерк, по просьбу мою, в конце концов, удовлетворили. Направили старпомом на тральщик, а ещё через два года на противолодочный корабль вторым штурманом. Прозу я бросил на жертвенник Нептуна и поклялся в верности перед Морским уставом. Блудный сын вернулся в объятия моря. Не обошлось, конечно, и без русалок и их подводных интрижек.

Пока Гарбузов рассказывал, мы распили бутылку муската в память о прежнем обычае принимать, сойдя на берег, по стакану вина за 20 коп. у винных ларьков, похожих на палехские шкатулки, что стояли на Приморском бульваре в те благословенные годы.

Как я ни просил официанта принести самое старое крымское вино, но мускат явно отдавал рыночными реформами. Мне не хватало неиссякаемой веры Дока в общепит, и я сказал официанту:

— Если мы пили тогда такое же вино, то непонятно почему мы до сих пор живы.

Официант саркастически улыбнулся:

— Прикажете принести ещё бутылку?

— Валий. Да не споткнись.

— А вы за меня не беспокойтесь.

— Не за тебя, дурачок, за бутылку.

Мы посидели ещё с полчаса, и Гарбузов заторопился.

— Ну, а сейчас где служишь? Все-таки каперанг не бывает вторым штурманом даже на крейсере.

— Опять вернулся к осёдлой жизни. Дали под начало Центр по подготовке моряков в борьбе за живучесть корабля. Недавно направили представление на присвоение звания контр-адмирала. Может, ещё успеем обмыть? Ты надолго в Севастополь? На День Флота, это уж святое дело, надо быть здесь. Кстати, я тебе доставлю в гостиницу пропуск на трибуну. Вместе быть не сможем. Приезжают Путин и Кучма. Велено быть при штабе.

Мы расстались, и я снова почувствовал сладковато-горький привкус райского воздуха. Горечь, видимо, рождало воспоминание о нечестном поступке моего сокурсника по училищу, обманом занявшего мое место, назначенное при распределении. Но тут же пришла спасительная мысль: в конце концов, это мой рай, я в нём хозяин, поэтому я вышвырнул непрошеного гостя за дверь и повесил табличку: вход по спецприглашениям.

Я медленно побрёл по Большой Морской к историческому бульвару. Впереди маячила тень Дока, того, давнего молодого офицера-подводника, и я, как замороженный, следовал за ней и постепенно растворялся в чужеродном настоящем и материализовался в родном прошлом.

...Мы встречались на выходе из плавдока, в котором стояли его подлодка и мой ЗМС-7, и шли в морскую библиотеку.

Я готовился к экзаменам в Литинститут, хотя и не знал, прошёл ли творческий конкурс, а Док изучал фламандскую школу живописи и третий иностранный язык — испанский, хорошо владея английским и немецким. В полной обособленности мы проводили в читальном зале два с половиной часа, а потом шли в молочное кафе на улицу Ленина и брали вареники со сметаной или запеканку.

Табу на молчание снималось, и мы болтали, а чаще всего спорили по всякому поводу — от свойств гречневой каши до значения абстракционизма в мировой живописи.

Много позже я понял, что тогда в нём формировался человек мира, в отличие от меня, полностью поглощённого (теперь сказали бы “заточенного”) проблемами и историей собственной страны.

Док хорошо знал мировую культуру и особенно современное изобразительное искусство. Коренной ленинградец, сын секретаря горкома и научной сотрудницы Русского музея, он на последних курсах мореходки подплава увлёкся реставрацией картин Куинджи.

— Знаешь ли, — говорил он мне, — картины Куинджи темнеют гораздо быстрее, чем полотна других мастеров, использующих традиционную технику письма. Его шумевшая в своё время “Ночь на Днепре” уже не приводит нас в такой восторг, как современников художника. Картина потемнела, и чародейство “лунной” краски исчезло. На дальнем плане уже не видно, например, лошади. Легенда о таинственной краске не такая уж и легенда. Он действительно создал её, но как восстанавливать её свежесть, никто не знает. После обычной реставрации картины Куинджи прогрессируют в потемнении, и их оставили в покое. Мне казалось, я нашёл рецепт состава для обновления. Срок потемнения увеличивался вдвое, но мне сказали, что этого недостаточно. Нужна уверенность, что не возникнет разрушительный процесс, и тогда мы вообще потеряем этого самобытного мастера.

— Ага, — говорил я, — тебе не дали убить Куинджи, поэтому ты взялся возвеличивать абстракционизм, этот разлагающий декадентский стиль, чуждый здоровому вкусу восприятия искусства.

— Ник, не трагай искусство. У тебя гораздо лучше получается защита вкуса гречневой каши.

Мы купались до одиннадцати ночи, а потом шли спать в мою каюту на два члена команды и более комфортную, чем у него на лодке. Однако редко спор заканчивался раньше трех часов, когда уже начинал светлеть диск иллюминатора.

В то время Док добивался в штабе флота разрешения на приезд к нему невесты. Севастополь был закрытым городом, и вызывать можно было только близких родственников. Ему в конце концов отказали, и наверно, какую-то роль в этом сыграл отец, который был категорически против женитьбы сына на еврейке. Док порвал с родителями, но от невесты не отказался. Брак всё-таки так и не состоялся, но это уже не по его вине.

Интересно, что в начале девяностых, когда рухнул СССР и началась вакханалия вульгарной демократии, Док разительно переменялся, став истым патриотом России, остро переживая распад страны и девальвацию нравственных ценностей. Так иногда кажется, что близкий тебе человек равнодушен к твоим проблемам и заботам, но стоит придти большой беде, и он всё отдаёт ради твоего спасения. Док по-прежнему называл себя человеком мира, но я-то знал, что это была ирония над самим собой.

...Наступали конец субботы и воскресенье, и между нами воцарилось негласное перемирие.

С друзьями и знакомыми, группой человек из шести-восьми, мы отправлялись встречать рассвет на Байдарском перевале. Выйдя из автобуса Севастополь-Алушта, мы поднялись на лесистую гору около перевала, находили поляну и разводили костёр. Всегда находился играющий на гитаре, в крайнем случае брэнчал я, и мы пели песни, пили вино, читали стихи. В предутренье шли на перевал к старому храму и смотрели, как внезапно

начинал светлеть восточный окоем неба, и как наконец божественно величаво выплывал на посеребрённый горизонт моря помолодевший диск солнца. Опаловая дорожка света ширилась, излучая весь спектр цветовой гаммы, она властно подчиняла стихию пробуждающегося моря, и солнечный поток охватывал прибрежные скалы и весь берег, победно вскинув огненные блики на вершине Ай-Петри.

Мы трижды кричали “Ура!” и спускались к морю. Купались и почти там же, у изголовья волн, засыпали. Ну, а вечером возвращались в Севастополь — его подданные и его со-ратники.

...Тень Дока уселась на парапет сквера, парящего над Южной бухтой.

— Слушай, — сказал я ему, — я понимаю, что все эти миражи, видения и прочие потусторонние шалопаи — наши дети. Мы их рожаем, но мы и убиваем. Так что не надоедай мне молчаливыми поучениями. Валяй, отдохни где-нибудь.

Я спустился к причалам и тут же увидел сухогруз “Руза”. Мистика какая-то, подумалось мне. Она, эта самая “Руза”, и в моё флотское время была уже не молодой, а сейчас ей, наверно, больше лет, чем старухе Изергиль.

Однако вахтенный у трапа подтвердил, что это именно она, что капитан на борту, и сейчас меня проводят к нему.

Я ступил на отполированную швабрами палубу, вдохнул солоноватый, сдобренный запахами тавота и шаровой краски воздух, и меня качнула нежная волна флотской юности.

Капитан, слава Богу, оказался пожилым, грузным мореманом, и мы с ним быстро установили координаты пересечения с общими знакомыми, но особенно сблизила нас светлая память о моём первом капитане Покрышеве.

Я достал коньяк, рыбные деликатесы и огурцы, он пригласил помощника и стармеха, и мы с тихой радостью окунулись в прошлое.

— Ну а сейчас как живёте, куда ходите на своей старушке?

Капитан помрачнел.

— Стоим у стенки, пока не напихают полные трюмы городских отходов. Потом выходим за бонны, на внешний рейд и сбрасываем их в море. В месяц раз, иногда два, в зависимости от количества праздников. Зарплату, правда, выдают, но если нужно заменить какую-нибудь деталь, допустим, в дизеле, то покупаем новую на свои кровные. Денег на ремонт не дают. Принцип: “Хотите жить, умеете вертеться” соблюдается, как Моисеева заповедь.

...Когда я уходил, трап подо мной скрипнул как-то по-стариковски обречённо и одновременно сдержанно, пресекая всякую попытку проявления жалости к судну, которому он принадлежал.

По курсу возвышалось здание флотской газеты “Флаг Родины”, и я, перешагивая через ступень, поднялся на второй этаж и постучался в дверь кабинета главного редактора. Как-никак, а мой творческий путь начинался в этом сером особняке. Именно “Флаг Родины” благословил меня в литинститут, я был его лауреатом и постоянным автором.

Однако капитан второго ранга, из свеженькой поросли морских офицеров, сказал, что ему наплевать на прошлое с клотика, и если кому-то хочется шляться по трюмам, то пусть это делает в одиночку и не тащит с собой порядочных людей. Я хотел было сослаться на Бальзака, но не был уверен, что он ходил с компанией в свой рай воспоминаний.

Зато в комнате редакции по общим вопросам мы с двумя сотрудниками газеты оторвались по полной.

Выйдя от них, я неосознанно оказался в актовом зале редакции, откуда вышел когда-то окрылённым и самонадеянным.

На подоконнике сидел Док и насмешливо шурился. И все же я обрадовался, что есть хотя бы одна душа, которой я могу сказать, как прекрасно одиночество в раю воспоминаний.

— Ты помнишь, Док, тот вечер?

...В Севастополь на встречу с молодыми литераторами приехали столичные знаменитости — Михаил Светлов, Степан Щипачёв, Николай Флеров, Всеволод Азаров, Александр Жаров, Петро Загребальный, и нас приютил этот зал “Флага Родины”. Я, правда, опоздал часа на полтора по причине

болтания моего ЗМС-7 на рейде. Когда я втиснулся в зал, Щипачёв как раз облегчённо произнёс:

— Ну, поэты кончились. Сделаем перерыв, а потом послушаем прозаиков.

Я робко поднял руку. После тихих переговоров за столом президиума мне сказали:

— Только одно стихотворение.

Я прочитал и почувствовал, как на мне скрестились подозрительные взгляды со сцены и из зала. Понурился, я отправился было на галёрку, но Светлов остановил:

— Прочитайте ещё. Два, три.

Потом просьба повторилась, я читал ещё и ещё, с листков и по памяти, и наэлектризованность зала приподняла меня, и я ощутил легкие взмахи крылышек за спиной...

Док не удержался и фыркнул:

— Ты неизлечим. Клинический случай распространённой болезни у вашего брата — поэтов. Скорее бы ты перешёл на прозу. Может, поумнеешь.

Я решил обидеться:

— А что, не так было? Что, не окружили меня в перерыве корреспонденты местных газет, из крымского радио, из журнала “Советский моряк” и просто участники встречи? Не расхватали листки со стихами, а потом уже, в итоге, не предложили издать в Киеве сборник стихов? Что, не так? Ты же был на этой встрече!

Док печально молчал.

— Ладно, — сказал я примирительно, — пойдём в молочное кафе. Небось, жрать хочешь, потому и такой прищипленный.

— Видения бестелесны. Они не жрут, в отличие от вас, материализованных оболочек. Предложи что-нибудь духовное.

— Тогда пойдём выпьем.

— Вот это другое дело.

И Док неслышно переместился вслед за мной в обычное кафе.

Пока мы молча жевали нечто похожее на салат оливье и старались с оптимизмом неандертальцев осилить плоский, как попавший под трамвай пятак, кусок мяса, запивая кислым мерло, я вспомнил нашу давнюю встречу, когда впервые почувствовал, что с другом происходит что-то непонятное.

...Вскорости после прихода во власть М. Горбачева я приехал в гости к Доку в Ленинград, и он повёз меня на дачу к родителям. Они оба уже не работали. Отцу было немногим за семьдесят, матери на два года меньше. Мир между ними и сыном воцарился естественным образом после того, как невеста Дока навсегда уехала с родителями в Израиль.

Отец, Кирилл Афанасьевич, высокий, нескладный в движениях старик с близоруким взглядом и белесыми густыми бровями, стал секретарём горкома в 1950 году в процессе завершения “ленинградского дела”, переведённый на эту должность из политуправления флота.

Он так и остался человеком флотской закваски, прошедшим войну в Приполярье сперва в дивизионе СК, а после ранения на береговых батареях Мурманска.

Мать, Татьяна Сергеевна полтора года назад оставила работу в Русском музее и полностью отдала себя домашним заботам.

Мы приехали с Доком к ним в небольшой домик, утопающий в зелени Старого Петергофа, в конце августа в тихий сумеречный день, пахнущий яблоками и молодым сеном, сложенным в копёнку на соседней даче.

Татьяна Сергеевна принялась готовить застолье, а мы с Кириллом Афанасьевичем устроились за небольшим дощатым столиком во дворе дома, и Док, уже не морской офицер, а научный сотрудник одного из ленинградских НИИ, после нескольких дежурных вопросов о здоровье родителей спросил отца:

— Как ты относишься к новому генсеку и его программе перестройки?

Прошло уже много лет с того августовского дня на даче в Старом Петергофе, но до сих пор я отчётливо помню неторопливые слова Кирилла

Афанасьевича, его почти неподвижные глаза, глядящие на меня, как будто не сын, а я задал ему вопрос. Док отвлекался иногда на помощь матери, а я сидел и слушал, не желая верить неожиданно резкой и тревожной оценке происходящих в стране перемен, и не мог не верить убедительно выстроенным фактам и выводам. Исторические параллели, высказывания учёных и философов, вековой опыт народов и примеры судеб государств и режимов, наконец, своя жизнь — всё это выстраивалось в логически обоснованную критику перестройки и новой политики государства.

— Страну ждут тяжёлые времена, — говорил бывший секретарь горкома, — и, боюсь, что мы на пороге её развала. Началось это не сейчас, а в 56-м году, с XX съезда партии. Мы разрушили одну из главных опор — веру в личность, олицетворяющую идею справедливого мироустройства и неизбежность её воплощения в реальность. Развенчав личность, мы убили и саму идею, в неё перестали верить сначала так называемая интеллигенция, а потом и народ. С этой же целью вот уже двадцать веков пытаются разрушить Образ Христа, и если это удастся, христианство, как вера, умрёт в душах людей.

Эта параллель с Иисусом Христом мне показалась слишком натянутой, но я не стал возражать, понимая, что по сути она, видимо, правомерна, а всякое сравнение хромает, как сказал Гёте.

Кирилл Афанасьевич продолжал.

— Идея коммунизма, если брать её сущность, родилась вместе с первобытным обществом. Неважно, что она не имела научного обоснования и меняла век от века свои названия, но стремление человека построить справедливый мир, в котором люди не гипотетически, а реально жили бы достойной жизнью, пронизывает всю историю человечества. Но чем дальше, тем янее становилось, что это невыполнимо. Это утопия. Прекрасная, но утопия. Биологическая сущность человека, хищнические инстинкты наиболее сильных особей стоят неодолимым барьером на пути к воплощению идеи добра и справедливости. Любая религия и тот же коммунизм, как и демократия, — из числа этих утопий.

Кирилл Афанасьевич вдруг замолчал и как-то обмяк, словно в нём не стало стержня, который держал его грузное тело в состоянии праздничной приподнятости. Он потерянно смотрел на меня, даже скорее сквозь меня, в то невидимое, что было за мной, и оно пугало, веки его вздрагивали и, утяжелённые невидимым грузом, опускались, почти закрывая глаза. Наконец, он снова заговорил.

— Сейчас мы в идеологическом лабиринте, на распутье, по-русски говоря, и несть числа поводырей, предлагающих свои услуги по выходу на верную дорогу. Вот вы, я слышал от Олега, литератор. Вы можете назвать героя нашего времени в литературе последнего, скажем, тридцатилетия? Где тот, кто стал духовно-нравственным идеалом, образцом для подражания, в каком произведении?

Идея всегда требует создания образца, без него она мертва, и это понимали не только религиозные деятели, создавая образы святых, блаженных и мучеников, но и основатели государства рабочих и крестьян. Без таких, как Павка Корчагин, Павел Власов и Ниловна, Чапаев, Лазо, Давыдов и Размётнов, герои лучших советских фильмов и герои Великой Отечественной, идея социализма не смогла бы воодушевить народ на жертвенное служение во имя её Победы. В ещё большей степени образы героев и подвижников — вечный родник животворных сил — требует чувство патриотизма. Посмотрите, сколько в истории примеров воспитания народов на идеалах той или иной идеологии. Герои Древней Греции и Рима, немецкий Зигфрид, английские Робин Гуд и Ричард Львиное Сердце... Сколько их! Не потому ли мы сейчас на распутье, что разменяли Державную Правду на множество правд маленьких человечков?

Не это ли произошло в литературе шестидесятников и в той же деревенской прозе? Когда умирают герои, умирают и идеалы. Так, Руссо говорил: "Не увлекайтесь деталями, они заслоняют сущность". А мы погрязли в деталях и эпизодах, случаях и случайностях, выдавая их за сермяжную правду.

Как-то в конце пятидесятых всплыл такой факт: во время блокады Ленинграда, когда тысячи умирали от голода, одна семья, живущая в своём доме в пригороде, держала в погребе корову. Место было малолодное, и им удавалось незаметно приносить ей корм и убирать навоз. Молоко продавали за ценные вещи и драгоценности. Это был дикий, единственный случай, но можете представить, как бы его могли раскрутить любители деталей, как подорвать героизм блокадников?

Подошёл Док и пригласил к столу, однако присел рядом с отцом и снова повторил свой вопрос:

— Как тебе новый генсек? Наконец-то отыскали молодого, энергичного, напшигованного идеями, как жареный поросёнок капустой. Только как бы не прокисла она.

— Откуда в тебе, Олег, столько злой иронии? Как будто ты на весь мир обижен.

— Вот-вот, именно на весь мир. Это же по-нашему: бить — так оглоблей, красть — так миллион, злиться — так на весь мир. А Горбачев — это деталь, заслоняющая сущность. Только вот, кто знает эту сущность? Так что же нас ждёт, отец, под взмахами новой метлы?

Кирилл Афанасьевич чуть заметно улыбнулся:

— Ты хорошо сказал: метлы. Думаю, что много выметут хорошего, может быть, главного, что было добыто кровью и потом не одного поколения России. Осколки разбитого прошлого полетят в будущее, и раны от них могут оказаться смертельными. Но может статься, что опомнятся и пойдут рыться в том, что выбросили, чтобы вернуть к жизни зерна добра и любви.

Мир с каждым годом становится всё сложнее и всё беспощаднее к слабым. Не дай Бог нам оказаться слабыми, а ещё хуже — трусами, рабами чуждой морали. Прав русский философ И. Солоневич: “Сила — первая добродетель нации”. Сила не только воинская, но интеллектуальная и духовная.

Но я вижу, как усиливается процесс размягчения мозгов. Человек, создавая искусственный интеллект, постепенно переходит на его иждивение, становясь умственным инвалидом. Страшно за будущее, за вас, за внуков...

...Я вспоминаю ответ Кирилла Афанасьевича сейчас, через много лет, и поражаюсь его предвидению. Не пророчеству, не предсказанию, а именно предвидению, ибо он обосновывал своё понимание судьбы страны через факты и причинную связь событий, которую я не видел и, признаться, не верил в исход столкновения различных сил, какой он обозначил и какой таким и оказался. Но к этому удивлению примешивается тревога, даже страх за судьбу России и русского народа, ибо то, что сказал бывший секретарь горкома, не ограничивалось распадом СССР, торжеством дикого рынка, бездуховностью и вымиранием населения, а предполагало логический исход в тёмные времена хаоса и бед.

Я не всё запомнил, но суть была такова.

Док в тот далёкий вечер после ответа отца был молчалив и сосредоточен, и долго не гасил свет в своей комнате, по крайней мере до полуночи, пока я не уснул, а утром, когда я зашёл к нему, он ещё спал. На столе лежала открытая книга. Я заглянул в неё и прочёл:

“— Это безумие!

— Да! Но теперь только безумцы могут спасти мир от гибели. Умники за семь тысячелетий привели человечество к пропасти. Настала пора безумцев остановить это самоубийство”.

...В гостинице дежурная передала мне пригласительный на гостевую трибуну в день празднования Дня Флота.

— Просили передать, что нужно придти за час до начала. Позже можно не попасть. Президенты приехали, перекроют улицы, и вообще...

— Это “вообще” меня особенно убедило, и я был за час до начала праздника на трибуне. Кое-как нашёл место, где приткнуться, и оглядел гавань.

На рейде в парадном ордере стояли все могучие силы Черноморского Флота: три российских корабля и два украинских.

Гремела музыка, ветер забавлялся флагами расцветивания и вымпелами, орёл с памятника затопленным кораблям вот-вот, казалось, взлетит с венком славы в безоблачье небес, чтобы размять бронзовые крылья.

Минут за двадцать до начала праздника, до обхода строя кораблей штабным катером под флагами командующих флотами на рейде появился трехпалубный теплоход под французским флагом с туристами на борту.

Восхитительно выглядели женщины в пляжном одеянии, приплясывающие под марш “Прощание славянки”. Все-таки прав был Александр Дюма, сказавший, что самое прекрасное на свете — это фрегат под парусами, танцующая женщина и скачущая лошадь.

Для полноты впечатления не хватало, правда, скачущей лошади.

Появились Президенты Путин и Кучма. Французский теплоход с достоинством ушёл в сторону Инкермана, и праздник начался.

Мне стало почему-то грустно, и я вслед за некоторыми офицерами покинул трибуну.

Что-то не складывалось в душе моей, она не праздновала, она тихо скулила, как щенок, выброшенный на помойку.

Я бесцельно бродил по городу, излучающему каждым камнем июльскую жару, пока не натолкнулся на зазывал поехать в Симеиз на лучшие крымские пляжи. Вот и отлично, решил я, заодно и повидеюсь с Байдарским перевалом.

В микроавтобусе был полный набор желающих омыть свои потные тела в голубоглазой Симеизской бухте.

Звенел полдень, когда мы выбрались из Севастополя, и даже встречный ветерок и открытые окна не спасали от зноя. Вспомнились юношеские стихи:

...Смотрели пассажиры молча, хмуро

На степь, на пыль, на тусклый отблеск трав.

Однако двое все-таки не молчали.

Парень с какой-то железкой на груди, перстнем на пальце и татуировкой на крутых бицепсах рассказывал своей подруге, украшенной пирсингом на бровях и маленьком носике, о событиях, связанных с окрестными местами. Говорил он достаточно громко, с апломбом участника защиты Севастополя в 1855 году и, тем более, Великой Отечественной.

— Вот эта дорога, — говорил он, — уходит в Балаклаву. Там стояли войска англичан и французов, осаждающие Севастополь. Однажды им послали зарплату в золотых монетах на корабле, а он затонул во время шторма у Балаклавы. Уже после революции большевики его подняли, и этого золота хватило, чтобы выполнить их пятилетки.

Очкастый старик, сидящий сбоку от молодой парочки и, видимо, хорошо слышащий эти исторические байки, скривился в насмешливой улыбке, но промолчал.

Парень сказал ещё что-то по поводу многократного превосходства русской армии, обороняющей Севастополь, над армией союзников, и что англичане построили железную дорогу из Балаклавы в Севастополь, но Советы её разобрали, и перешёл к Великой Отечественной. Его взгляду как раз подвернулась Сапун-гора, и он, покосясь на старика, изрёк:

— Вот под этой горкой полегло около миллиона наших солдат по вине тупоголовых комиссаров. Вместо того, чтобы её просто обойти, полезли в лоб, на вершину с красным флагом, а то внизу его плохо видно.

Девушка засмеялась, и в её бусинках на бровях и на носу заиграли весёлые искорки.

Старик не выдержал. Он лихорадочно, почти с криком, одёрнул парня и стал говорить, что высоты потому и брали, что их нельзя обойти, дорожке обойдётся, что если бы под каждой горкой оставляли по миллиону погибших, то через месяц некому было бы воевать, что нельзя на зарплату 26 тыс. английских солдат построить заводы, электростанции, транспорт, больницы и школы, создать авиацию и флот, — всё то, что было сделано за первые пятилетки в СССР, что нельзя охаивать Родину, в которой он родился и вырос до возраста ничего не знающего балбеса.

Старик кипятился, путался в словах и поправлялся, доказывал свою правоту с помощью цифр и цитат, но парень вызывал, похоже, больше симпатий у разомлевших пассажиров, потому что был молод, красив и спокойно улыбался, снисходительно глядя на старика.



Сдобнотелая женщина лет пятидесяти с мобильным телефоном, который лежал у неё на груди, как на тумбочке, первой из нейтральных наблюдательниц бросилась на защиту парня:

— Что вы к нему привязались? Разве он не имеет право на своё мнение? Вы, наверно, из бывших партаппаратчиков, привыкли всех выстраивать.

Старик, наконец, взял себя в руки.

— Вы правы, мадам. Личное мнение, конечно, выше исторического факта. И никто не запретит вам считать, например, что Берлин в 45-м году взяли американцы, а не советская армия.

Это была роковая ошибка. Мадам обрушилась на него с такой яростью, что её хватило бы на взятие не одной Сапун-горы.

Мне было жалко старика, защитника исторической правды, и того времени, и той страны, которые были смыслом его жизни.

Я понимал всю его правоту, но в раю, даже личном, не должно быть никаких сражений, диспутов и вообще несогласия. Рай — это рай, а не круглый стол ТВ.

И я с облегчением вздохнул, когда наш лимузин остановился на Байдарском перевале, и внизу распахнулось море во всей своей могучей лени, едва пошевеливая сонными волнами приборя.

В Симеизе, прежде чем одарить вольной жизнью на пляже, нас повели на экскурсию в парк, знаменитый своими ботаническими причудами. По давней привычке я отстал от группы и бродил один наугад, пока не наткнулся на дерево с табличкой “ливанский кедр”. Во мне смутно забрезжила мысль, что я слышал об этом кедре, но вот что именно, вспомнить не мог. На всякий случай я решил сорвать с него шишку, зелёно-смолянистую, чтобы иметь доказательство общения со знаменитостью.

Однако шишка висела на недостижимой высоте. Припомнив свои спортивные способности, я перехватил в левую руку полиэтиленовый пакет с ручками, в котором лежала стеклянная бутылка Боржоми, и прыгнул с разбега, протянув правую руку к шишке. В ту же секунду я почувствовал страшный удар чем-то тяжёлым по голове чуть ниже глаза, и фейерверк искр рассыпался у подножья кедра. Из пакета, весело журча, лилась струйка Боржоми, и тихонько звенькали осколки бутылки. Не успел я сообразить что же произошло, как рядом возникла тихая старушка и укоризненно прошелестела:

— Это святое дерево. Нельзя рвать с него плоды. Попросите у него прощения и покайтесь молитвенно.

Старушка тут же растворилась во влажно-маревой парковой зелени.

“От этих привидений отбоя нет, — подумал я, — нужно что-нибудь поесть, а то на голодный желудок и не то привидится”.

Я пощупал ушибленное место, и оно отозвалось слабой болью. Исполнив наказ старушки, я побрёл на пляж, с содроганием думая, что скажет о моём моральном облике мадам.

Но на обратном пути никто не замечал моего “фонаря”. Зеркала нигде не было, и я тихо спросил старика, как выглядит моё лицо. Он, показалось, обрадовался, что к нему обратились.

— Вы немного переусердствовали с загаром, помажьте на ночь кремом или лучше сметаной, а завтра всё будет в порядке.

“Это вряд ли”, — вспомнил я слова красноармейца Сухова из “Белого солнца пустыни”, и когда зашел в гостиницу, сразу же подошёл к зеркалу. Синяка не было. В номере на единственном стуле сидел Док.

— Где ты весь день шлялся? — спросил он, плавно переместившись на кровать.

— Я думал, что потусторонние субстанции всё знают и без вопросов. Но если... И я рассказал ему о французском теплоходе, о поездке в Симеиз, о старике, молодом “эрудите” и мадам, о ливанском кедре и старушке.

— Кстати, не из твоей ли она коды? Тоже какая-то потусторонняя.

Док ответил загадочной фразой:

“И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни”.

— Разъясни. Не понял.

— Это из “Ветхого Завета”. Рай недостаточно создать. Его нужно уметь защищать от посягательств слугителей ада и прочей шпаны. Напряги клетку своей памяти и вспомни, сколько раз ты промолчал, когда унижали словом и делом твой рай, сколько раз прошёл мимо тех, кто обламывал райское древо жизни, и ты не остановил их. Ты не нашел мужества вступить за старика, за тех, кто штурмовал Сапун-гору, кто защищал Севастополь во все времена. И вообще, кого защитил ты в своём раю, тем более сам рай?

— Слушай, — сказал я Доку, — что-то я не замечал в тебе раньше интереса к религии. Было увлечение искусством, языками, историей, астрономией наконец, но ведь херувимы, как я понимаю, не посланцы Андромеды или Гончих Псов?

— Действительно, — согласился Док, — я как-то позабыл о твоей приземлённости. Тебе подавай что-нибудь вещественное, чтобы можно было пощупать.

Док на какое-то время замолчал, задумчиво глядя в окно, за которым вспыхивали гирлянды салюта и рассыпались в густо-сиреновом небе. Всполохи света вырывали из тьмы силуэт Тотлебена и шпиль бывшего матросского клуба.

Когда салют отгремел, Док повернулся ко мне.

— Хорошо, давай о приземлённом, о тех, кто защищал свой рай. В давние времена их было несть числа, и не было такой цены, которую они не заплатили бы за святость и бессмертие рая. Ты, кажется, был свидетелем одного такого поступка.

На одном из Пушкинских праздников поэзии в Михайловском, в доме директора заповедника Гейченко Семена Степановича знаменитый поэт Ярослав Смеляков униженно отозвался о жене Пушкина Наталье Николаевне, назвав её чуть ли не проституткой. Для Гейченко мир Пушкина был свят. Это был его рай, и он бросился на осквернителя, влепив пощёчину Смелякову. А ведь они были почти друзьями.

В те же годы поэт Михаил Луконин сказал, что не позволит при нём плохо отзываться о стране, за которую гибли его друзья.

Я почувствовал слабую горечь во рту — признак возбуждённого состояния.

— Уж не хочешь ли бы сказать этим, что и у тебя чешутся руки?

— Нематериальные тела не могут бить по морде. Для этого существует, например, бутылка Боржоми, — миролюбиво ответил Док и предложил пройти по ночному городу и поискать на небе Андромеду.

— Я расскажу тебе удивительную легенду об этом созвездии, в которой герой через покаяние приходит к несокрушимо стоянию за Истину. Кстати, после той пощёчины месяца через два Смеляков опубликовал стихи:

— ”Прости, Наталья Николаевна...”

...Мы шли с Доком по освещённым праздничными огнями улицам и вглядывались в их новое обличье, стараясь найти следы ушедших эпох, но безжалостное время переместило их куда-то в неподвластное нашему взгляду пространство.

Уже не было молочного кафе, “палехских” ларьков с винным избытком за 20 копеек стакан, почти не было флота, но был негибачный, непокорённый Севастополь, были русские моряки, и стояли вросшие в железную землю памятники героическим защитникам России.

...Ночью мне снилось Средиземное море. Мы с Доком лежим на пробковых матрацах на сигнальном мостике корабля, глядя в крупнозвёздное ночное небо, и он рассказывает мне легенды о созвездиях.